

КОЛЯ ИЗ ДЕРЕВНИ ЗУЕВО

Коля из деревни Зуево — это настоящий богатырь. Плотный — кровь с молоком, и кулачищи — во! Плечи широченные, а душа ещё шире. Коля добрый, как медведь из детской сказки: чеши его против шерсти, тяни его за уши, хоть запряги его — всё стерпит. Но зато, если унюхает кому несправедливость, или ещё хуже — кошунство, тут уж лучше сразу улепётывай.

Вот, когда ещё Коля ходил в парнях, деревенские повадились на дискотеку в район. На чужом пиру, известно, пришлым иногда не везёт — прилетает. Ребятки и брали с собой Колю «на счастье». Он войдёт с ними, станет в уголке, топчется. Местные видят с кем Коля и деревенских не задирают. А Коля ждёт, пока парни надрыгаются с девками под «Руки вверх», охраняет. Потом вместе возвращаются шумной кривоватой компанией.

Вот идут они как-то раз подогретые, весёлые. Перед их деревней на дороге ржавый знак «Зуево». Обладая остроумием, никак этот знак не миновать. Остряк в компании есть — это Эдик. И как он раньше-то всегда мимо проходил?! А тут... «Зуево»... Замазал Эдик первую букву грязью, и пальцем по грязи вывел изящный икс. Ржали все, дружно. И Коля тоже сначала ржал. А когда сообразил, что это над его родной деревней совершилась такая несправедливость, кошунство... Ох... Эдик не успел испугаться, не вякнул, летел с насыпи в канаву — кусты трещали. Пацаны на Колю вылупились, мол, ты чего? А он в землю устался, мол, — ничего: «А чего он!..» Эдика из канавы достали, и Коля сам же помогал ему выдирать репы из кудрей, и грязь снимать со знака.

Время идёт, Коля взрослеет. Отслужил срочную, вернулся к отцу с матерью. Тут колхоз развалился... Стал Коля наниматься общественным пастухом и привык к этой должности, как будто для неё родился. А чего ему: на лошадёнку всем миром скинулись, он и рад.

Собирает Коля на зорьке коров со всех улиц на своей клячонке — кажется вот-вот надорвётся под ним бедная лошадь, сдохнет. Пригонит стадо на луг, кляча отдышаться не может, язык высунула, а он дремлет в теньке под вязом. Чем не жизнь! Лежит Коля радуется, кулак под голову, гоняет в зубах травинку. Всё лето — праздник! Всю зиму отпущк.

Годы потихоньку идут...

Пора бы Коле жениться, а он стеснительный. Да и нет в Зуево, нормальных невест. Нормальные разъехались.

Но зато пришёл час, дождалась Зуевская заброшенная церквушка себе настоятеля. Прислали батюшку старенького, лысого, совсем постного. Однако весьма бодро. Батюшка сразу деревню обошёл, со всеми перезнакомился. Коля ему очень

понравился. И как так получилось, что Коля к бабушке тоже сразу привязался. Душа запросила, что ли? Сроду ведь он до своих тридцати трёх попов не видал. А бабушка и рад — помощник ему, кадило подавать. И стал Коля алтарником. Пошли Коле стихарь-дирижабль...

Вот, идут они на малый вход: бабульки чуть слышно попискивают с клироса, алтарник со свечой боком еле-еле просовывается во вратницу — того гляди, дверной проём лопнет — ступает, половицы под ним гнутся, а следом маленькой бесплотной тенью отец-настоятель. И голосок его такой:

— Прему-удрость, про-ости! — искушение, прости Господи! Ну как тут молиться?

Вскоре затеял бабушка в храме ремонт, и началась у Коли хлопотливая пора. Успеваешь и со стадом, и в церкви. Что-то грузит, что-то месит, что-то пилит всё лето. А ближе к осени послал где-то Бог настоятелю средства и тот заказал комплект колоколов.

Вот, привозит машина заказ, манипулятором всё сгружает. Собрались возле церкви люди, глядят: пять колокольчиков, так и сияют, новые. Главный, наверное, под центнер, остальные поменьше. Солнце на них поигрывает. Зуевские о таком и не мечтали, радуются. Бабушка к народу повернулась: надо, мол, кран нанимать, поднимать их на колокольню. А тут Коля: зачем кран, я сам подниму, и сам повешу. Никто не удивился. Немного, конечно, посомневались для порядка, но на том и порешили. Назначили дату, пригласили благочинного, фотографа из районки, начальство...

В назначенный день собралось всё село, все три сотни. Благочинный в шёлковой рясе, сельсоветский глава на УАЗике, участковый. Коля — при своей вечной телогрейке. Отслужили молебен, погундели речи и началось. Четверо мужиков подняли большой колокол, Коля под него головой подлез, принял на плечи. Благочинный раскрыл рот:

— Вот это ж бывает такой медведь!

Фотограф забегал вокруг, щёлкает.

Коля качнулся и двинулся к трапу — колоколенка невысокая, трап положили от пожарной машины, длинный, не шибко крутой. Мужики засуетились вокруг медведя, под ногами путаются, как будто помогают. Вот Коля шагнул на трап, тут помощники отстали, пошло легче. Трап прогнулся, заскрипел. Народ примолк, бабушка крестится. Коля шагнёт — приставит ногу, ещё шагнёт — постоит. Видно и такому богатырю тоже не всё просто. А на полпути, сам потом говорил, даже испугался. Духу, говорит, вовсе не осталось, назад нельзя, вперёд не могу. Не бросать же. Стал про себя молиться и как-то, сам не заметил, добрался до верха. Тут сразу и мужики за ним по трапу бросились колокол принимать, крепить. Следом и фотограф. Коля на цыпочки привстал, поднял колокол к хомутам, мужики сунулись было вставлять клинья — глядь, а клиньев-то и нет. Заорали вниз в народ, чтоб там на земле искали. Слава Богу, быстро нашли их, возле молебного столика валялись. А Коля всё держит. Клинья принесли, опять Коля на носки приподымается, мужики давай клиньями в уши целить, а тут фотограф: «Дай-ка с этого боку щёлкну. Да погоди, вот теперь отсюда зайду». Коля на него даже заругался. Потом спохватился, что Божье дело совершает, и позволил щёлкать этому ироду, сколько влезет. Ну, с Божьей помощью всё прошло хорошо. Колю потом долго в народе хвалили. После и газета пришла, фотографию разглядывали: впереди благочинный — шёлк переливается, с ним — глава, сбоку участковый цветёт, где-то вдалеке бабушкина бородака отсвечивает. А позади всех, почти не видно — мужик с колоколом вместо башки...

С новой звонницей Зуево будто ожило. Вроде всё по-прежнему: ни работы, ни до-рог, ни фельдшера, ни газа, а только слышишь, как утром колоколенка поёт и на душе

праздник — самое что ни есть Светлое Воскресение. Местные ребяташки намостырили хорошо звонить. Батюшка сам с ними лазил, обучал...

Как-то на зорьке Коля гнал своё стадо, посвистывал. Вдалеке, в пойме — видно — туман. И зябко пастуху туда глядеть и радостно. Давит свою клячонку, улыбается. Стало стадо дорогу переваливать и немного замешкалось — взросло что-то вкусное по неезженным обочинам. Коровки пасутся, Коля на кляче, как Санчо Панса на ишаке, сидит. И сроду в это время никого по дороге не носило, а тут сразу целый Лексус. Розовый и номера столичные, гудит:

— Эй, деревня, коров убери!

Коля стал просить, чтоб не гудели, коровы пугаются. А те светом моргают и ещё шибче. Коля — извиняться, мол, мы

сейчас, мы скоро. Ну, замешкались чуток, это же животное, глупая. А те опять на Колю, мол, это ты животное: козёл ты, и коровы твои — козлы. Коля давай их упрашивать, мол, если уж совсем спешите, так на вашем джипе можно ведь и сторонкой вот тут вот запросто объехать. А Лексус ни в какую, дай ему дорогу и всё. Тут, как на грех, в деревне колоколенка запела. Коля картуз долой, как был на лошади, так и давай креститься на деревню. А эти в машине увидели и совсем разошлись:

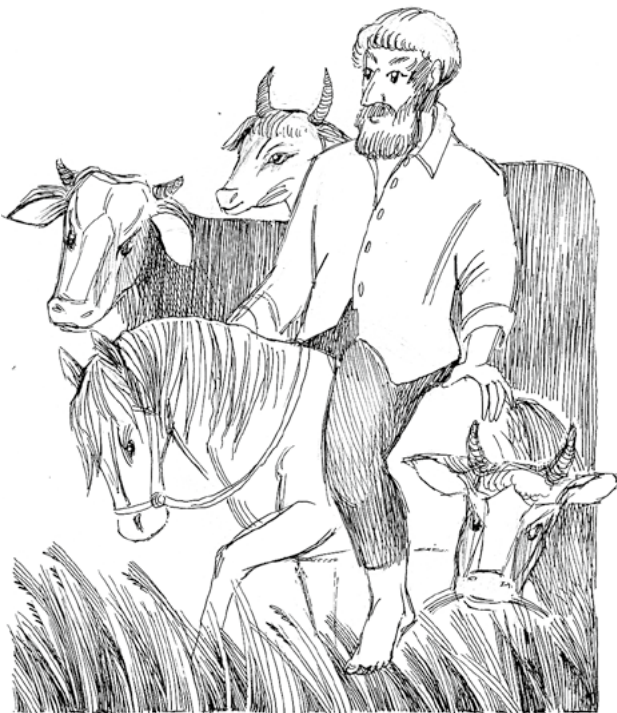
— Козёл, — говорят, — ты. Но не простой козёл, а правосла-авный! И церковь твоя...

Ну... Зря они так. Ох... Коля покосился на них, перекрестился последний разок, картуз натянул. Поравнялся с розовой машиной, к самому окошку подъехал, откуда лаялись. Немного на лошади склонился, будто хотел в окошко заглянуть...

Хорошо, что водитель отстранился. Медвежий кулачище летел полукругом, снизу. Если б челюсть поддел или ухо зацепил, то грех был бы великий. А так изнутри шарахнул в крышу, как раз над водителевой тубетейкой, и ладно. Тогда уж джип гудеть перестал и объехать согласился, как Коля и просил в самом начале. И всё благополучно, миром и добром.

Наверное, до сих пор торкается где-нибудь в столичных пробках красивый розовый джип с огромной шишкой на темечке...

Лето — самая пастушья страда. Это только со стороны так, будто ему — пастуху — не бей лежачего. А кто пробовал сам, тот знает, каково оно: ты их для начала попробуй собери в кучу, попробуй перегони куда-нибудь, если конечно, получится собрать. Тогда уж и рассуждай. А если пастух со слабинкой, они это чувят. Шалят, как всё равно сговорились. Лезут, глупые, во все стороны. А Колю коровки слушаются, как



своего. Он только подумает, поднимется им сказать, а они уже угадали и идут, куда полагается. И народ доволен, что не надо больше всем по очереди пасти.

В церкви совсем сделалось уютно. Всё оштукатурено, побелено, печку к зиме переложили, дров запасли.

Но вот совсем гладко-то всё не бывает...

Как-то смотрел Колин отец перед сном новости. Коля мимо проходил и тоже уставился в ящик. А там... Ох... Увидел Коля, где-то батюшку обижают. Одного обижают, а другого убивают. Задышал Коля как-то не хорошо, глядит. Отец на Колю косится, уже что-то чувствует. А в телевизоре теперь школу бомбят. Коля не моргнёт, уставился, а там стали церковь обстреливать. Ох... Зря они так. Поиграл Коля желваками, пошёл к соседу, постучал. Сказал ему, чтоб он стадо принимал, отвёл ему свою клячу. Вернулся в хату, собрал рюкзачок, сунул в штаны паспорт с военником. Мать забеспокоилась, мол, ты куда? Коля на телевизор кивнул: «Туда». И на заре уехал.

Плохо стало без Коли, пусто. Коровы с утра мычали, ни в какую не слушались нового пастуха. Тот даже матерился.

Да и не одним только коровкам худо: как-то батюшка сам уголь в кадило сыпал, неуклюже сыпал, отвык, подрячник прожёл. Всё что-то из рук валится.

А ещё потом было, один зувеский мужик поехал как-то в район картошки продать, вернулся без картошки и без денег, и в глаз получил. Говорил: «Был бы здесь Коля, шиш бы они мне».

И так-то всё кругом провисло, ослабло...

Но зато потом Колю увидели! Увидели в новостях. Со спины, правда. Подхватил медведь одной ручищей раненого, бежит, свободной лапой пятерых зелёных раскидал. Пули свистят — его не берут! Мины воют, земля дыбится, страшно. Увидел на бегу — ещё один свой скovyрнулся, и того подобрал. Живёт силушка, других из-под смерти уносит!

Ну? И кто же это ещё, как не Коля?

Батюшка среди недели затеял по этому случаю обедню о здравии, Колю поминать. Колокольня разливалась! Обрадовались все, что Коля нашёлся, только об этом потом и разговаривали.

Больше всех, конечно, этой новости радовался пастух: совсем ведь пастуха ни одна скотина не слушает, измучился. Говорил: «Раз Коля там объявился, значит всё у них теперь наладится. Будем ждать».

И то правда, скорее бы уже наладилось, скорее бы уже возвращался Коля — скорее бы Зувеским коровкам облегчение...

СЛОН ЗАБРАЛСЯ В ОГОРОД

Когда Володя Капустин овдовел, ему показалось, что жизнь окончена: сорок семь лет, дети разъехались, с работы сократили, ибо в век инноваций зоотехники никому не нужны — одно к одному. Но хозяйственные хлопоты, как известно, врачуют всё. Было дело, раньше хлопоты врачевали покойную супругу, теперь же они принялись за его — Володино — исцеление. Он и сам не заметил, как «рана на душе» зарубцевалась, а слёзы высохли: в хлеву у Капустина мычит, в курятнике кудахчет, в закуте хрюкает — всё требует рук. И в огороде тоже — не горюй, успевай-поворачивайся.

На полустанке, где сидят с домашним товаром сельские торговки, Володя занял место своей покойницы. Когда из электрички вытекал на платформу охочий до «экологии» дачный народ, Капустин громче соседок провозглашал своё: «Молоко, молоко домашнее! Картошечка, тёпленькая картошечка! Маслице!» Со своей тележкой вдовец проворно суетился и нерасторопные старухи, оказавшиеся вдруг при таком соседстве в финансовой яме, сильно его невзлюбили. Ходили слухи, что бабка Галя, которая торгует прогорклыми семечками, посетила как-то местную шепталку, чтобы та извела конкурента проклятого. Но знахарка, видать, накануне не выспалась и вместо того, чтобы околоть, Капустин смастерил себе тележку больше прежней и расширил ассортимент.

Дом энергичного вдовца приятели теперь обходили. Вечерами одинокий уставший Володя усаживался в кресло, гладил пухлого рыжего кота и смотрел дремотными глазами программу «Время». Однажды сосед привстал на цыпочки, с надеждой заглянул в Капустинское окно, и скис: «Даже и не выпьёт! Чё просто так сидеть-то? Сбрэндил», — и философски заключил: — «Всё. Нет былого огня в Вовиной крови».

Но огонь в Вовиной крови бушевал! Правда бушевал, в основном, по ночам, поскольку днём не до огней. После крестьянского дня Владимир зевал, выключал телевизор и вырубался. И снилась ему одинокая дачница Елена Сергеевна, которая проживала в доме с запущенным садом на краю села. Снились её длинные волнистые волосы, её не по возрасту хрупкий стан, её свободное длинное платье и не только. В полночном пруду плавала луна, седина лезла в Володину бороду, зудело ребро. Сны витали над его изголовьем, как в далёкой допризывной юности.

Однажды на улице дачница подмигнула Капустину, Капустин пришёл домой и произнёс: «Женюсь». Кот, дремавший в кресле, приподнял рыжую голову и услышал от хозяина следующее: «Пойми, урюк, человеку одному на земле противопоказано. По хозяйству одному уже никак. И дети... Дочке отправить надо? Надо. Двум пэтэушникам в общагу надо? Надо. И пирогов домашних хочется. Да и вообще. Сегодня и посватаюсь». Кот зевнул, помотал головой. В его зелёных глазах читалось: «Давай, приводи ещё рот на нашу сметану. Самим мало».

— Приведу, — пообещал Володя.

Актёр Тихонов в известном фильме как-то сообщал, что от людей на деревне не спрятаться, и был прав. Среди торговков на полустанке про Елену Сергеевну поговаривали, что будто бы на заре она купается нагишом, мяса не потребляет, а вечерами из её окон гундит странная песня, в которой поминаются такие предметы: харя, крыша, снова харя и почему-то рама. Какая такая рама, торговки не знали. А ещё у неё временами гостюют лысые друзья. Капустин смекал, в чём дело: сам когда-то, живя в общаге сельхозинститута, дружил с бритым наголо лоботрясом Костей. Костя плясал на левой ноге, звенел колокольчиками для донки и горланил «Харе Кришна». За прогулы Костю отчислили, а Капустин и без Кости потом ещё долго слушал Гребенщикова и временами Рериха полистывал. И хотя по всему выходило, что Елена Сергеевна «из этих», но ещё одна пара рук в хозяйстве не была лишней, а ночью и вовсе нет разницы из тех она, из этих, или ещё из каких.

Вечером Капустин побрился и начистил туфли. Долго думал, что взять в качестве гостинца. Сало и окорока, по понятным причинам отпадают, вина-коньяки — тоже. Остаются цветы, вон их сколько в палисаднике, но с ними за двор — никак, старухи заключают. Капустин решил задачу так: взял сметаны, банку мёда, головку домашнего сыра и, оглядываясь, огородами двинул на край села, где в запущенном осеннем саду стоял домик яркой цветастой дачницы.

К подворью дачницы вела заросшая бурьяном тропа. Володя обстрекался крапивой и нацеплял на штаны репёв. У калитки отряхнулся, opravился. Во дворе

некошенный бурьян стоял лесом. «Мужика нет, — убедился Капустин, — а то б скосил». Он толкнулся в калитку, калитка упала. «Починим», — решил Володя и воззвал:

— Хозяйка! Гостей принимай!

Дверь тягуче заскрипела, будто это и не дверь вовсе, а сам дом норовит стать к лесу задом, а к гостю передом. На крыльце показалась хозяйка, одетая, будто давняя студенческая подруга недоучки Кости, что скакала тогда под его рыбацкий колокольчик. Хозяйка поклонилась, её седеющие волосы вблизи не показались Владимиру такими уж привлекательными. Гнилые ступеньки крыльца зловеще скрипели, когда гость поднимался, а одна и вовсе провалилась.

В комнате назойливым комаром монотонно звенит и постукивает незримый гаджет. В скрипе-постукивании слышна нудная песня про ту самую «харю», о какой судачили на полустанке. С потолка свисают пыльные бумажные гирлянды, с картины пялится страшное синюшное существо. Другая картина а-ля Рерих изображает горы. После срочной службы на Кавказе Капустин горы ненавидел. Он считал, что равнина, особенно русская, это самое живописное явление. Что может быть живописнее майского заливного луга? Или реки? Или луга у реки? В юности Вова искренне недоумевал, почему Рериху всегда требовалось рисовать именно горы, и подозревал у художника расстройство ума.

Владимир подмигнул хозяйке, выложил на стол свои домашние гостинцы и тут же у его ног засуетились две тощие кошки. «Кошки-то совсем чабошные, — отметил Володя, — ничего, откормим». Оглядел хозяйку: — «И её откормим». Сладко-горький дымок струится под закопчённым потолком, тускло мерцают свечи, комариным роем звенит нудная песня. Хозяйка жестом Зиты (или Гиты) указала гостю на старомодное кресло, гость сел.

— Знаю, что привело тебя в мой дом, — пропела хозяйка голосом, похожим на голос артистки Касаткиной, что озвучивала чёрную, как гудрон, наставницу индуса Маугли. — Ты ищешь свет, ты ищешь истину.

— Видите ли, Елена Сер...

— Молчи, — перебила Елена Сергеевна и приложила палец к губам, — тиш-ше. Тебя привёл он, — она указала на стену, где синее существо с дудкой. — Сейчас мы будем пить чай, и ты попробуешь торт. Ты любишь торт? Молчи. Ты ещё не знаешь, какой изумительный торт мне привезли.

«Эге!» — подумал Капустин, — «Эта тебе — не вахлячок Костя из общаги. Эта сразу — за рога да в стойло!» А хозяйка продолжила:

— После чаепития тебя коснётся он, — и указала на синерожее существо.

Володю передёрнуло, он не хотел, чтобы его касалась эта потусторонняя личность.

Хозяйка удалилась. Спустя минуту она внесла залапанные чашки и крохотный торт. Володя решил, что после чая он и расскажет хозяйке, что пришёл не за какой-то там истиной, а за ней, за Еленой Сергеевной, расскажет, как они с ней заживут. Ведь у него и корова, и прочее, и дом — полная чаша. Всё есть, а хозяйки нет. Володя принялся жевать торт отдающий резиной. Первый кусок никак не хотел проглатываться. С трудом Владимир одолел его и тот — шлёп! — упал в утробу. А следующий кусок шлёпнулся почему-то в голову. В черепе пошёл эхом гулять звон. Потом горы на картине задрожали и комната завертелась в трёх направлениях. «Э, да она же ведьма!» — подумал Капустин, и его замутило. Захотелось переловить невидимых нудных комаров, захотелось, чтоб заткнулись голодные кошки. Синий портрет с дудкой зловеще выпучил свои добрейшие глаза, раздул ноздри. Хозяйка что-то шептала, прикасалась ко вдовцу одинокими горячими руками, которых было ровно пять. И сквозь огоньки, скрипы, жесты, дудки, сквозь горы и шёпот далёким ветром доносило до слуха Капустина хрюканье голодного Капустинского борова и мычание недоенной

Капустинской коровы — самой обыкновенной коровы, не священной, а потому глупой и вряд ли одобряющей священную кулинарную наркоманию.

За окнами порозовело вечернее небо. Володя собрал остатки воли, поднялся, прицелился в двоящуюся дверь и выскочил на воздух. Раздосадованное синее существо выдохнуло в свою дудку, гора на репродукции уронила камень. Елена Сергеевна ничего не заметила — она пребывала уже не здесь, она спускалась к Великой реке, созерцала круги на воде, оставляла следы на песке и ощущала синее просветление. Мир не трогал её обрахмапутренного слуха.

Утром у Владимира Капустина трещала голова и ломило суставы. Что поделаешь... Сердобольная вдовая соседка Валя кружилась по Капустинскому хозяйству. Управилась с Капустинской Зорькой и теперь хлопотала на кухне, гремела посудой. В доме пахло мятой и чабрецом. Поцокивали ходики, потягивался и зевал рыжий кот. Володя лежал с мокрым полотенцем на голове, которое гасило вчерашнее эхо, без интереса щёлкал пультом, переключал каналы. Крышу мыл сентябрьский дождь и радости на свете не было. Володя листал каналы, с отвращением вспоминал вчерашнее и думал о своей нынешней помощнице-соседке. Сколько раз она выручала. И с поминками... тогда... когда это... Сам много ли успел бы? И когда к детям в город отлучиться, она за его скотиной приглядит. И вот сейчас. А оно ей надо?.. Пусть она и не яркая, как та, пусть не умеет наряжаться. Ну и что? Сам тоже ведь давно уже не тово-этово. А она и пироги умеет, и возится тут с ним, хворым...

Володя снова щёлкнул пультом и влип в экран, и даже привстал на постели: показывали Индию! Леся и Бедняков рассказывали о просветлённых индусах. В телевизоре трясли перед камерой своей голой непосредственностью голодные рахитные ребятишки, в грязной лохани грязная женщина полоскала грязное бельё. Мухи облепили нечто прямо посреди тротуара. Потом показывали столичный вокзал. Там граждане бомжеватого вида штурмовали побитую электричку и топтали друг друга босыми ногами. Капустин позвал соседку и ткнул в экран — гляди! На городском бульваре что-то подбирал из-под грязных прохожих ног и совал в свой беззубый рот косматый старик. Поодаль макаки вычёсывали блох и переругивались на своём макакачьем наречии. А над всем этим житьём-бытьём, с фасада единственного приличного здания английской постройки, застенчивый синий Кришна благословлял дудкой, одобрял своих верных просветлённых подданных.

— Гляди ты, — вздохнула соседка, — а посмотришь ихние фильмы, так сплошной праздник с танцами. А у самих вон, вон, гляди — слон забрался в огород!

— Это не огород, — сказал Капустин, — нет у них огорода, просветлённые они. Это он так просто шастает, улицу удобряет.

— Ох, смотри до чего народ-то чабошный, то-оший! Да в их климате можно было б три раза в год картошку копать! А они...

Рядом с людьми пялился в телевизор рыжий кот. Может быть ему нравился слон, может маргышки. Никто в мире не знает, что творится в маленькой кошачьей голове при виде слона и маргышек...

Включилась реклама.

Володя сорвал с головы повязку: «Просветлённые, туды их!»

...А потом в телевизоре сказали, что в следующей серии Леся и Бедняков отправятся теперь к другим просветлённым гражданам, в соседнее королевство Непал, прямо в его столицу, в Катманду. Это слово Капустина согрело:

— Точно! В Катманду! Туда вам и дорога, — имея в виду свою вчерашнюю неудавшуюся невесту и всех её коллег по просветлению и кулинарии, сказал Володя Капустин. И повторил: — В Катманду.

По-прежнему шумел по крыше дождь, сидела рядом потрясённая слонами соседка Валя. Где-то у дальнего пруда мок под дождём пастух, и жевали печальную осеннюю траву Вовина и Валина коровы.

Головная боль помаленьку отпускала.

НАД БЕЛО-РОЗОВЫМ МОРЕМ

Дед спозаранку взобрался на крышу сарая. Высоко сидит, выше цветущих яблонь. Он стар и лыс. В кармане его штормовки обойные гвозди с большими шляпками. Он достаёт их по пять, держит поджатыми губами. Сидит на развёрнутом листе рубероида и снизу смахивает на римского патриция — волосы на висках всклокочены, торчат лавровым венком над покатою лысиной. Один такой, похожий, в венке, висит в кабинете истории. Патриций мычит себе под нос песенку «На Волге широкой, на стрелке далёкой...», берёт двумя пальцами гвоздик, прижимает рубероид к крыше. В другой руке молоток. Тюк-тюк-тюк — и гвоздь по шляпку входит в кровлю. Дед разворачивает чёрный рулон, перемещается за ним по крутому скату. Тюк-тюк-тюк — и переползает дальше. Ловко у него получается! Внук заворожено любит сяду снизу.

— Что, Борька, в школу? — с гвоздями в губах у деда получается «Фто, Бойка, ф фкоу?»

— Ага...

— Неофота?

— Неохота.

В школу и правда неохота. Но Борька знает, что осталось учиться три несчастных недельки и терпит. Да, всего-то три недельки и к соседке — бабке Скоковой — привезут на лето Олежека, а к Манучихе — Андриюху. Олежек придурошный и умеет курить, а Андриюха делает из велосипедных спиц пугачи и ловит банкой карасей. Компания что надо. И у обоих раскладные велики.

— Дед!

— Фто?

— А можно мне тоже на крышу, помогать?

— Я ефё не законфю к твоеу пыиходу. Пыидёф и заазь.

...Нет, «неохота» это не то слово. Такого слова, каким в мае неохота в школу, в четвёртом классе ещё не знают. Борька плетётся с портфелем, а по садам бушует бело-розовое яблоневое море. Шкрябает кедами засохшую колдобинами землю, а по деревне орут петухи. В палисаднике напротив магазина бело-розово — клубится черешня, и под ней завелись юные тюльпаны. Где-то блеет козёл, гуси пробуют молоденький спорыш, трясут клювами, довольны.

На крыше магазина — коты... а в кармане у Борьки рогатка. Борька озирается и целит в кота. В громкого, рыжего, который на серого орёт. Долго целит, не дышит, чтоб руки не ходили. Ещё мгновение и правосудие припечёт агрессора под самый хвост. Но внезапно Борьку сцапали за ухо. Он взвизгнул и промахнулся.

— Ах ты паразит! — новый школьный военрук, старый майор, ухватил цепко, не вырваться, — Вот, кто в магазине стёкла бьёт! Ну всё, попался, брат, — военрук вырвал у Борьки оружие и отправил в карман своих брюк с лампасами.

Борька захлопал:

— Я не стёкла, я кота хотел...

— Кота? Чем тебе бедный кот насолил?

— Он не насолил... он злой, он обижает... орёт на серого...

Седой майор смягчился, немного попустил свою крабовую хватку:

— Так ты что же... получается, заступался за слабого?

— Угу.

— Ну... — военрук будто немного растерялся, — Ну, не знаю. Хорошо б тебя, защитник, отвести к родителям, чтоб высекли...

— У меня одна мамка, она в городе живёт.

— А ты?

— А я у дедушки с бабушкой. Они меня не секут.

Старый майор озадачился. Как быть? Надо бы озорника поучить, но как судить защитника...

Военрук усомнился:

— А ты точно, не по окнам? — глупый вопрос, — Гм. Ладно, а кто твой дед?

Борька назвал дедову фамилию.

— А, это... рядом с Манучихой-то? Ну... — майор выпустил благородное ухо, оправил свой китель. Велел передать деду привет и легонько подтолкнул пацана в сторону школы.

Всю учёбу Борька отходил героем! Как же: перенёс пытку — алое ухо так и светит. Враг коварно подкрался, вырвал оружие, но боевого духа не сломил: геройские руки в карманах, нос выше макушки, пионерский галстук вылез на пиджак — и ладно! Главное ведь всё равно не это. Главное — впереди! И оно — главное — скоро зазвенит жаворонками, затеребит на реке поплавки, загрохочет Андрюхиными пугачами и сведёт скулы земляничной оскоминой. А ещё будет покос — возможно, позволят править конными граблями. Возможно, дед подарит наконец свой ржавый мопед — он давно обещает. И будут надеты на сучок и зажарены на костре пескари, и плечи обгорят, а потом облезут. И над всем этим будет густо плавать нестерпимый донник...

Весна... Великое беспокойство процветает под небесами, ширится, растёт...

...Борька возвращается домой, суетливо идёт, с подскоком. На изумрудной лужайке выткнули свои мордочки жёлтые одуванчики. Пробивается у свалки горлупа. Солнце играет, звенит... Всё звучит, всё вокруг — сплошная мелодия! Даже своя калитка и та поёт по-весеннему.

Дед, как и обещал, по сию пору светит лысиной с высокой крыши сарая. Оттуда, слышно, напевает сквозь зажатые губами гвозди: «...гудка-ами коо-то вовёт фароход...» Борька переоделся, и к нему на подмогу. Ухватил с грядки молодого щавеля, набил рот, скривился. Карабкается по лестнице, жуёт, морщится.

Рубероид под солнцем размяк. Борька прорвал дыру на самом верху ската, и дед заставил его самостоятельно заделать прореху. И так и этак вертит Борька молоток, и так ухватит гвоздь и этак — всё ерунда получается. Дед посмеивается:

— Что, мастер, помочь?

— Угу, — Борька проводит под носом чёрным от рубероида пальцем и превращается в гусара.

Дед переползает по скату к нему. Тюк-тюк-тюк — готово. Борька смущённо ковыряет ногтем гвоздь. Дед ухватывает гусара за нос:

— Мастер-колесник... старой бабушке ровесник. Эх ты...

Борька шмыгает носом. Хочется поскорее забыть свою неловкость, и он заговаривает о другом:

— Дед, тебе военрук привет передаёт.

— Ну... и ты ему передавай.

— Он что, твой друг?

— Да как тебе сказать... Бежали вместе.

Борька уставился на деда:

— Бежали? Куда?

Дед вдруг ослаб, сел на коньке, сложил облизанные гвозди обратно в карман, уставился вверх цветущего сада:

— Куда бежали-то? Домой бежали. А куда ещё бегут, — песня про широкую Волгу вмиг потухла, поплыла вдаль туманцем. — Дело-то было под Курском. Мы тогда отступали, не оглядывались. Я лейтенанта в штаб отвёз, возвращаюсь один. Из леса выехал, а они уже на опушке, штук десять. Главное, туда ехал, здесь ещё наши стояли, а обратно, вот... «Рус, здавай!» Не помню, как с мотоцикла слез. Помню только, что куда-то вели, в спину всё время толкали... Помню, рожи у них довольные, сытые...

Дед поперхнулся.

Лицо патриция, то дрогнет застенчивой полуулыбкой, то по нему пробегут еле заметные судороги. Кажется, будто он к чему-то прислушивается и не может услышать, губы поигрывают то досадой, то недоумением...

— Дед, а бежали-то...

— А? А, бежали... Бежали-то уже после, в сорок пятом, в марте. Я под Веной, в деревне, на хозяина батрачил. Нас таких много было, у каждого в деревне прислуга и работники из наших, пленных. Когда наши к Австрии подошли, *эти* нас всех собрали со всего округа, свезли на полянку. Помню, шофёр, что нас вёз, гражданский. А какой расстреливал, тот уже в полевой форме, правда без погон. Однорукий, старый. Выстроил нас: «Руссиш швайн! Тринкин шнапс унд шпилен балалайка!» ... Как он одной рукой затвор передёргивал, я не заметил. Главное, тогда ещё подумал: «Как же этот хрен будет одной рукой взводить?» Думал ведь про это, а не заметил. Как сейчас вижу, держит этот однорукий автомат, упёр в рёбра, целит по нашей шеренге на уровне сердца и медленно-медленно ведёт. Я выстрелов не слышу, только вижу, как автомат подпрыгивает, гильзы отлетают и с правого края наши тощие начинают валиться. Вот до меня ещё семь человек, вот — шесть, вот уже четыре... Готовлюсь, скоро моя очередь. Вот уже сосед мой дёрнулся, упал. А я думаю, как так, выстрелов не слышно, а они валяются... Тут меня в руку толкнуло, дёрнуло повыше локтя, развернуло, я и скопытился...

Дед снова поперхнулся.

...Лёгкий южный ветерок прилетел, погнал волну по розоватому яблоневому морю. Волна покатила, покатила, добежала до сарая и разбила об угол, понизу кровли.

— Дед, а бежали-то?

— А, это уж после. Я тогда упал, думал что помер. Которые рядом, те — кто сразу затих, кто хрипит, кто корчится. Немец прошёлся вдоль нас и к шофёру в кабину — прыг, даже борт не закрыли — я-то шурю, вижу — и укатили. А я себе думаю: «Если борт не закрыли, значит ещё за кем-то поехали». И точно. Время прошло: которые рядом — коченеют. Тут эти двое, привозят ещё полный кузов таких же тощих. Так же выстроили и так же бесшумно... Один мне на голову свалился, придавил. Кровь из него глаз мне залила, а другим-то в щёлочку я вижу: фрицы борт защёлкнули. Значит на сегодня у них всё. Укатили. Который меня придавил... слышу, сердце сверху мою голову в песок вколачивает: тук-тук, тук-тук. Когда стемнело, я его с себя спихнул, он застонал, глаза приоткрыл. Я его растормошил и пополз к лесу. Ему лёгкое прострелило. Нам с ним всего по одной пуле досталось. Дня два ползли, за лесом нас австрияки подобрали, спрятали в сарае. Мы у них с неделю отлежались и...

Борька раньше видел у деда шрам, повыше локтя. Думал, это от прививки... А это, оказывается, вон от какой прививки. Если прикинуть, до сердца сантиметра четыре не дотянул, промазал однорукий.

— Вот. Бежали... Ползли больше. Ну, а когда до своих доползли, нас опять в сарай, под замок. С неделю продержали. Его, этого, раз на допрос вызывали. А меня и не допрашивали... Он потом, после войны в Вене дослуживал, в армии остался, а я за Пермью. Недолго, правда, три годка дали... дослуживал... Теперь вот он в отставке, хату у нас в деревне купил, приветы передаёт. Ну, коли так, и ты ему от меня привет снеси. Скажи, дед, мол, в гости зовёт... Чего уж теперь-то...

Дед замолчал. Его лицо успокоилось. Взгляд начал понемногу возвращаться, приближаться к пахнущей гудроном крыше.

— Н-да... Что-то мы с тобой, брат... это, отвлеклись. А? — дед достал пяток гвоздей:

— Ступай в хату, скажи бабушке, пусть обед собирает, пора вроде.

Борька спустился до половины лестницы и спрыгнул. Когда приземлился, что-то твёрдое вдруг подкатило к горлу изнутри, начало душиТЬ. Борька понял, что он вот-вот разревётся и в хату не пошёл — встал под стрехой переждать. Это твёрдое походило на обиду, но не обида — это точно. Обиду-то кто не знает? А это не обида, нет. Нечто гадкое, которое требуется непременно раздавить, растоптать. И неможется. ...Ведь если б однорукый фриц тогда постарался, то ни деда, ни Борьки теперь бы не было! И каникулы теперь никому б уже не светили. Но это — ладно, ерунда. Ведь главное, что сперва-то, выходит, мамку Борькину... уби-ил бы-ы!..

— Га-адина! — грудь парнишки разрывается, сердце стучит в мозги, кулаки сами сжимаются...

Борька закусил губу, но понял, что так рёв не удержать и залепил рот обеими ладонями, шумно задышал носом...

...А сад кругом гудит пчёлами. Густо-густо, липко гудит и приторно благоухает. Чернеет за штaketником перепаханый огород — пора картошку сажать, все уж посадили. Борька давится, дышит носом. Переживает.

А с крыши опять мирно сыплется «тюк-тюк-тюк» и катится, беспечно катится, тихонько, задумчиво над бело-розовым морем:

На Во-олге широкой, на стре-елке далёкой

Гудка-ами кого-то зовёт пароход

Под го-ородом Горьким, где я-асные зорьки

В рабо-очем посёлке подруга живёт...

В рабочем посёлке подруга живёт...

